

ДМИТРИЙ ГАНИН

КТО ДЕРЖИТ ДОМ

роман

Дом — это не стены. Дом — это то, что в нём недосказано.

Санкт-Петербург · 2026

Дмитрий Ганин

Кто держит дом. Роман

«Автор»

2026

Ганин Д. А.

Кто держит дом. Роман / Д. А. Ганин — «Автор», 2026

После смерти отца трое взрослых детей наследуют квартиру на Лиговском — с условием. Завещание не выпускает её из семьи, пока наследники не найдут общую тетрадь в клетку, запечатанную восковой свечой и спрятанную между струн пианино, которое никто не двигал с 1949 года. «Если скажу где, они перестанут искать по-настоящему». В тетради — сто лет семейных записей: часовых дел мастер, начавший её в 1924-м ради строки, которую не осмелился сказать вслух; счёт, который тридцать лет вела женщина, ждавшая того, кто не вернулся; письма из Берлина и половина фотографии, разрезанной по линейке. Часы-пара: одна всю жизнь висела в кладовке, вторая ждала в чужом городе — с бумажкой внутри, которую можно развернуть только один раз. Паша переводит чужие фильмы и одиннадцать лет не решался вернуться в Петербург. Теперь у семьи — одна тетрадь и правило: читать вслух, по очереди, за столом. Дом держал своё сто лет. Настал срок, когда все, кто имеет право, окажутся в доме одновременно.

© Ганин Д. А., 2026

© Автор, 2026

Дмитрий Ганин

Кто держит дом. Роман

ДМИТРИЙ ГАНИН

КТО ДЕРЖИТ ДОМ

роман

Санкт-Петербург — Берлин — Пушкин
1924—2026

Санкт-Петербург, 2026

Кто держит дом, тот держит тетрадь.

Дом — это не стены. Дом — это то, что в нём недосказано.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТАЙНА

Глава первая. Три пакета
Глава вторая. Условие
Глава третья. Двенадцать копеек
Глава четвёртая. Пианино с Лиговского
Глава пятая. Непонял
Глава шестая. Плёнка
Глава седьмая. Счёт
Глава восьмая. Все трое
Глава девятая. Одиннадцать утра
Глава десятая. Кладовка
Глава одиннадцатая. Что взять с собой

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДОРОГА

Глава двенадцатая. Дорога в Берлин
Глава тринадцатая. Конверт Хофманна
Глава четырнадцатая. Музей часов
Глава пятнадцатая. Парные
Глава шестнадцатая. Ответ
Глава семнадцатая. Для сада
Глава восемнадцатая. Мая

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ИСТОРИЯ

Глава девятнадцатая. Тетрадь дома
Глава двадцатая. Февраль тридцать второго
Глава двадцать первая. Рука Сарры
Глава двадцать вторая. Обоз
Глава двадцать третья. Одиннадцать ноль-ноль
Глава двадцать четвёртая. Тот, кто читает иначе

Глава двадцать пятая. Дом держал
Эпилог

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТАЙНА
Глава первая. Три пакета

Похороны кончились в час двадцать, и уже без четверти два мы стояли в отцовской кухне и не знали, что делать с тремя пакетами. В одном была посуда, в двух других — гречка, сыр и половина буханки, потому что мама всю жизнь держала дома половину буханки, а отец, похоже, продолжил без неё. Лена предложила чай. Сергей сказал, что ему в шесть к поезду. Я стоял у окна с сигаретой, которую не закуривал, — у нас в квартире всегда был человек с сигаретой, которую не закуривал. И в этой тишине я вдруг понял, что квартира нас не выпускает. Она ждала. Не нас — чего-то в ней.

Прилетел я позавчера, вечерним рейсом из Риги. Таксист всю дорогу молчал, и это было правильно: город сам говорит то, что говорят таксисты, просто медленнее и с мостами. Март в этом году был не месяц, а состояние: снег шёл, таял и шёл снова, и каждый раз я не мог вспомнить, уже видел я эту слякоть или только собираюсь увидеть. На Лиговском, где в мои двенадцать гаражи стояли сплошной железной стеной до самой Обводной, теперь была парковка со шлагбаумом. Обводный вырос, поседел и стал гладким. Только парадная осталась прежней: тот же код на двери, тот же запах первого этажа — валенки и солёнка, как будто кто-то вечно сушит валенки над канистрой. Код сменили трижды за одиннадцать лет, и Лена каждый раз писала его мне в сообщении, как пароль от чего-то важного.

— 0742, — написала она в четверг. — Не перепутай с папиным старым: там 2047.

Я не перепутал. Я вообще ничего не перепутал: пальто висело на том же крючке, тапочки стояли носками к двери, и даже сквозняк из кухни в коридор дул в ту же сторону, в какую дул, когда мне было девять. За одиннадцать лет я выучил эту квартиру по запахам — так моряк выучивает маяки. Трубам — по звукам: они здесь разговаривают, по-моему, громче людей. Ванная says good night в одиннадцать сорок, батарея отвечает в шесть утра. Отец называл это «инфраструктурой дома» и говорил, что инженер обязан знать голос своего дома. «Порядок — это когда вещь можно найти в темноте», — сказал он мне однажды, и я в двенадцать лет не понял, о чём это, а в сорок шесть понял на кухне, вслепую нашёл правой рукой выключатель, чайник и его кружку — с отбитой ручкой, отполированной до белизны.

Отец не выбрасывал кружку двадцать лет. Мама предлагала, он отказывался. «Порядок, — говорил он, — не в том, чтобы вещей было мало. Порядок в том, чтобы каждая отвечала за своё место».

Тамара Борисовна пришла без стука — стук у нас в квартире отменили в сорок восьмом году, когда в ней ещё жили семь семей. Ей восемьдесят семь, она осталась из всех старых соседей одна, и от каждой комнаты держит ключ — на всякий случай, «вдруг вам срочно, а вас нет». Она принесла стакан компота и стакан водки.

— Компот — для души, водка — для крепости, — сказала она. — Но это по желанию.

Лена налила чай всем, Тамара Борисовна взяла водку, сказал: «Виктор Андреевич был последний, кто знал, куда у нас уходит вода. Трубы — это его ведомство. Тридцать лет, как он вышел на пенсию, а трубы всё равно слушались его». Она выпила, посмотрела на меня и добавила: «Паша, ты подрос». Мне сорок шесть, я на голову выше её, но в этом подъезде меня будут догонять ростом до самой моей смерти, потому что здесь меня в последний раз видели мальчиком.

Сергей почти всё время говорил по телефону — полушёпотом, отойдя к окну. В шесть у него был поезд. У Сергея всегда было в шесть к чему-нибудь: в детстве — к поезду, во взрослой жизни — к самолёту, теперь снова к поезду, потому что Москва от Петербурга на «Сапсане»

— это четыре часа, а жизнь у него была устроена так, что четыре часа он мог себе позволить, а четыре дня — нет. «В мае привезу детей», — сказал он в трубку третий раз за день, и каждый раз Лена кивала так, словно слышала впервые. Это была её работа в семье: делать вид, что обещания каждый раз новые.

Я вышел в коридор закурить — то есть постоять с сигаретой. В серванте, между фотографиями, лежала пачка «Парламента» девяносто восьмого года, полная, с акцизной маркой, которой больше не существует. Отец бросил курить в девяносто восьмом и оставил эту пачку на шкафе в прихожей. «Курю только когда стоит поговорить всерьёз», — объяснил он. За следующие двадцать восемь лет пачка не стронулась с места. Я понял, что никто в нашей семье так и не завёл с ним того разговора. Теперь пачка лежала на нижней полке, присыпанная мукой, как музейный экспонат, и мука на ней была моя — я просыпал её утром, когда искал чашку.

Про мою муку стоит сказать отдельно. Я приехал позавчера и уже успел разбить жизнь в этой квартире ровно на три предмета: чашку, муку и время. В Риге я делаю субтитры к чужим фильмам — профессия, в которой все мои слова всегда чьи-то. Одиннадцать лет назад я уехал после ссоры, о которой мы в семье договорились не вспоминать, — это единственное, в чём мы за одиннадцать лет достигли полного согласия. За одиннадцать лет я прилетал в Петербург трижды. Все три раза я не поднимался: стоял во дворе, смотрел на наше окно — третье справа, свет горел, — и уезжал обратно вечерним рейсом. Лена, кажется, знала. Она никогда не спрашивала.

Гречку Лена убрала сама. Я предложил помочь, и она сказала: «Я справлюсь». Эту фразу я слышал от неё всю жизнь — и она была не отказом от помощи, а отчётом: я уже справляюсь, не надо было пускаться до такого. Лена ухаживала за отцом последние шесть лет — врач, страховки, санаторий, ослепшие глаза терапевта, которые она выучила лучше, чем лицо отца. Она не жалуется. Она жалуется только на гречку: «У нас гречка не портится. Она ждёт». И это правда: в шкафу у отца стояло четыре килограмма гречки — разного года производства, он держал запас, как командир держит резерв.

Сергей перед отъездом заговорил было про дачу: «Там бы печь глянуть, у неё труба...» — и осёкся так, будто сказал лишнее. Лена не подняла глаз от чайника. Я запомнил этот осёк — не знал ещё, что он мне понадобится, — а пока просто проводил брата до двери. Сергей обнялся со мной по-московски: быстро, с похлопыванием и взглядом мимо. «В мае», — сказал он. Мы все знали, что «в мае» — это не месяц, а прошение об отсрочке.

После него Тамара Борисовна ушла к себе — из вежливости, как сказала, «чтобы вы по своим». Лена собрала чашки. В квартире стало слышно, как идут часы в зале — они шли всегда, я помню их тиканье колыбельной, и вот теперь они тикали для нас двоих.

— Завтра в четыре приедет нотариус, — сказала Лена, не глядя на меня. — По завещанию. Он звонил, сказал ещё по телефону: там есть условие. Особое. Он сказал: «Лучше при всех сразу».

— Какое условие?

— Не знаю. — Она вытерла стол там, где стол был чистый. — Я спросила. Он сказал: «Виктор Андреевич просил при всех». Я ей поверила не сразу. — Лена вдруг посмотрела на меня прямо. — Ты останешься на ночь? Здесь есть где. Твоя комната как была.

Я должен был сказать, что в Риге работа, что рейс утром, что у меня субтитры к чьим-то словам. Вместо этого я сказал: «Останусь».

Ночью я лежал в своей детской — кровать та же, обои переклеены, но рисунок на новых обоях был почти как на старых: машинки, вообще-то, машинки. Трубы отработали в одиннадцать сорок. Холодильник на кухне щёлкнул и замолчал. И в этой тишине я подумал, что квартира нас не выпускает — она ждала. Не нас. Чего-то в ней.

Вставать не хотелось, но я встал. Прошёл по коридору, не зажигая света, — вещь можно найти в темноте, вот он я, дочитал отцовский курс до конца. Зал был прохладный и длин-

ный, лунный свет лежал на полу полосой, как полоса невыученного урока. И посреди зала стояло оно: пианино «Аккорд», закрытое, покрытое ровной, нетронутой пылью — столько лет, сколько я себя помню, никто на нём не играл. Сверху, у края, стоял метроном — без маятника, один корпус, как дом без жильцов.

Мне было двенадцать, когда я спросил отца, кто на ней играет. Мы сидели в зале, он чинил настенные часы, и у него во рту была гайка — он всегда держал мелкие детали во рту, мама говорила, что так он думает громче.

— Никто, — сказал отец, не вынимая гайки.

— А зачем она тогда?

Он вынул гайку, положил на газету и ответил — так, как отвечал на самые важные мои вопросы: тихо и в сторону.

— Она держит комнату.

Я тогда решил, что это шутка. Теперь, в лунном зале, в четыре часа ночи, я стоял перед этим пианино и понимал, что это была не шутка. Это было первое условие. Просто я сорок шесть лет не читал инструкцию.

Глава вторая. Условие

Нотариуса звали Игорь Самойлович Гринберг, и он приехал в четыре ровно — а человек, который приезжает в четыре ровно, либо очень боится опоздать, либо очень любит порядок, и Гринберг, как выяснилось за следующие два часа, принадлежал ко вторым. Он был лет шестидесяти, в свитере с молнией, потому что нотариусы, навещающие квартиры умерших, носят свитера с молнией — это я понял сразу, а остальное понял потом. Он принёс с собой тонкую папку, свой штамп и термос, спросил разрешения вскипятить воду и получил его от Лены так, будто разрешения спрашивали у неё всегда и только у неё.

Мы сидели в зале. За столом — Лена, я и Тамара Борисовна, которую Лена позвала «как соседку и как человека, который знал отца дольше нас». Сергей должен был быть на связи по видеофону — его квадрат висел на ноутбуке, прислонённом к серванту, и в квадрате было видно, что он сидит в московском кабинете, у окна, за которым был вид чужого дома. Павел подключаться отказался. «Пришлю доверенность», — написал он Лене. Это была его привычная позиция: присутствовать бумагой.

Гринберг разложил бумаги, поправил очки и сказал вступительную фразу, которую я буду помнить дольше всего остального:

— Виктор Андреевич Резник оставил завещание обычной формы. Квартира делится на троих детей поровну. Это несложно. Сложно другое. К завещанию прилагается условие.

Он выдержал паузу — профессиональную, отрепетированную на многих кухнях, — и я успел за эту паузу прожить несколько вариантов: номер счёта, долг, чужое имя в завещании, ритуальные услуги неоплаченные. Условий я ждал денежных. Их всегда ждут.

— Условие состоит вот в чём. Виктор Андреевич просил зафиксировать: право собственности переходит к наследникам с момента принятия наследства, как положено по закону. Но распоряжаться квартирой — продавать, дарить, обменивать, сдавать — наследники смогут только после того, как в квартире будет найдена тетрадь.

Секунды три никто ничего не понимал. Потом Лена спросила — осторожно, как спрашивают у врача:

— Тетрадь?

— Тетрадь, — подтвердил Гринберг. — Он настаивал именно на этом слове. Я уточнял при составлении. Спрашивал: может, дневник, записи, документы? Он сказал: тетрадь. Общая тетрадь, в клетку. Он сказал: вы её узнаете, когда найдёте.

— А где её искать? — спросил я.

— Это он не сказал. — Гринберг поднял ладонь, останавливая следующий вопрос. — Я спрашивал и об этом. Его ответ я могу процитировать, он просил меня процитировать точно. Он сказал: «Если скажу где, они перестанут искать по-настоящему».

В квадрате на серванте шевельнулся Сергей. Он отодвинулся от микрофона, и было слышно, как в московском кабинете что-то щёлкает — клавиатура или чайник, не разобрать.

— Простите, — сказал он, — а что, если тетрадь не найдётся? Совсем. Никогда. Что тогда?

— Тогда, — Гринберг вздохнул, — через десять лет условие снимается автоматически. Закон не позволяет связывать наследство условием навечно. Виктор Андреевич это знал. Он сказал: «Десяти лет им хватит. Если за десять лет они не найдут — значит, не хотели, и дом поступит так, как поступил бы сам: достанется тем, кто забыл его искать».

— Это юридически как-то оформлено? — спросил я.

— Это юридически оформлено правильно и скучно, — впервые улыбнулся Гринберг. — Вся «поэзия» в завещании — это цитаты. Сам документ — обычный. Но пункт о тетради там есть, и он действителен. Я перепроверял его трижды, поверьте: за тридцать лет практики я таких завещаний видел два. Одно было про колодец.

— А второе? — спросила Тамара Борисовна.

— Второе — это это, — сказал Гринберг и снял очки.

И тут я должен отойти от протокола и сказать о том, чего в протоколе не было. В протоколе не было того, как Лена в эти три секунды — между словами «найдена тетрадь» и «он сказал: вы её узнаете» — посмотрела на сервант. Не на сервант — на пианино. Я сидел к пианино боком и видел её лицо в профиль, и если вы когда-нибудь видели, как человек узнаёт что-то за секунду до того, как это произнесут вслух другие, — это было оно. Лена знала. Может быть, не знала — догадывалась. Она в этой квартире прожила всю жизнь без выезда, и я не верил тогда — и не верю сейчас, — что за пятьдесят четыре года она ни разу не заглянула туда, куда взрослые не заглядывают.

Но она молчала. И это было первым её поступком в нашей новой семейной арифметике: молчание, отданное братьям.

Дальше было скучно и правильно: Гринберг читал завещание, мы подписывали ознакомление, Тамара Борисовна подписала как свидетель — «я при таких делах уже в пятый раз, у нас дом длинный», — и квадрат Сергея то приближался к микрофону, то отодвигался. В конце Гринберг сложил бумаги, но не встал. Он снял очки ещё раз и сказал уже не нотариальным голосом:

— Могу добавить от себя. Не юридическое. Виктор Андреевич приходил ко мне составлять это завещание четыре раза. Трижды отменял. Каждый раз приносил новые формулировки и каждый раз просил перечитать вслух пункт про тетрадь. На четвёртый раз, когда всё подписали, он посидел, посмотрел в окно и сказал: «Игорь Самойлович, а вы верите, что вещь может помнить?» Я ответил, что моя специальность — чтобы помнили бумаги. Он засмеялся и сказал: «Правильно. А моя — чтобы помнили трубы». — Гринберг надел очки. — Я не знаю, что в этой тетради. Но человек, который четыре раза переписывал своё единственное завещание ради одной страницы, знает что-то точно. Таких в моей практике — единицы.

Он ушёл в четыре сорок, забрав термос и оставив нам тишину, в которой было слышно, как в квадрате Сергея отодвигается стул, как захлопывается дверь подъезда, как в кухне Лена моет одну чашку — одну, потому что гости ушли.

Тамара Борисовна собралась тоже. В дверях она обернулась и сказала — мне, отдельно:

— Паша. Пианино не двигайте. Оно с сорок девятого года на месте, и при переездах его никогда не трогали. В сорок девятом, когда ставили, тоже был разговор. Длинный. — Она повязала платок. — Виктор Андреевич, когда был маленький, не имел права его открывать. Мальчикам не полагалось.

И ушла к себе, оставив фразу висеть в воздухе, как оставляют висеть пальто.

Мы с Леной остались одни. В квадрате Сергея включился микро: «Я всё слышал. Тетрадь. В клетку?» — «В клетку», — сказала Лена. Сергей помолчал и сказал: «Я помню эту тетрадь». — И отключился, не попрощавшись, как отключаются от разговора, который опасно продолжать по связи: стены, знаете ли, слышат.

Мы с Леной смотрели друг на друга через стол, на котором ещё стоял нотариальный стакан чая.

— Ты знаешь, — сказал я. Не спросил — сказал. Потому что видел её лицо в профиль.

Лена вытерла стол там, где стол был чистый. Потом сказала — тихо, как говорят то, что репетировали двадцать лет:

— Я знаю, где она лежит. Я знала всегда. Папа показал мне, когда мне было девятнадцать. Показал — и сказал: «Пока я жив, не трогай. Когда умру — позови братьев. Всех. Без них нельзя». — Она положила тряпку. — Я ждала, Паш. Одиннадцать лет я думала, что ты приедешь — и я позову. Ты не приехал. И я молчала, потому что обещала молчать, пока вы все трое не будете здесь. Вчера вы были здесь все трое. Впервые за одиннадцать лет.

Я спросил — и голос у меня сел:

— Почему нельзя без нас?

— Потому что, — сказала Лена и посмотрела на пианино, — там внутри не твой секрет. И не мой. Там внутри — наш.

Мы встали. Прошли в зал. Лена достала из ящика серванта ключ — маленький, латунный, потемневший, который должна была, по её словам, отдать мне ещё одиннадцать лет назад, в аэропорту Пулково, и не отдала, потому что я не приехал.

Пианино «Аккорд» стояло в зале столько, сколько я себя помнил. Мы отодвинули крышку. Клавиши были под пылью цвета кофе с молоком. Лена нажала одну — любую, дальнюю, басовую. Нота была мёртвая, глухая, как удар по столу.

А потом мы отодвинули верхнюю крышку целиком и посветили телефоном внутрь.

Там, между струн, лежала общая тетрадь в клетку. Толстая. С завязанной вокруг неё бечёвкой и восковой печаткой из расплавленной стеариновой свечи — я узнал свечу: она стояла у нас на кухне всю мою жизнь, на случай отключения света, и никто никогда не зажигал её.

— Это первое, что он сделал после мамы, — сказала Лена. — Запечатал. Мама умерла в ноябре, а в декабре он позвал меня сюда.

Бечёвку разрезали — ножницами Лены, теми самыми, что были в доме всегда. Воск крошился на две половины, и половины упали между струн, туда, где до них падала пыль и больше ничего.

Тетрадь была тяжёлая — тяжелее, чем тетрадь имеет право весить, потому что в ней лежало сто лет.

Первую страницу мы прочли вслух, по очереди, как читают.

Она была написана разными почерками и разными чернилами, но все строки говорили об одном. Наверху, крупно, чужим, старым почерком — хозяйским, уверенным: «Эта тетрадь — не для записей. Эта тетрадь — для ожидания. Кто держит дом, тот держит тетрадь. Кто держит тетрадь, тот отвечает за одну страницу».

Ниже, другим почерком: «Страница передаётся, а не читается».

Ниже, третьим: «Прочти — если все трое в доме».

А ниже всего, четвёртым почерком — почерком, который я узнал бы из тысячи, потому что так подписаны все инженерные расчёты в этой квартире и так была подписана записка, оставленная мне одиннадцать лет назад на холодильнике («Молоко в дверце, не жалей его») — был отцовский почерк. И отцовская строка говорила:

«Мне досталась страница, которую я не открыл. Я отдаю вам не разгадку. Я отдаю вам ожидание. Простите, что так. Больше я ничего не могу».

Мы закрыли тетрадь. Лена заплакала — первый раз за все эти дни, и заплакала она не от горя, а от чего-то другого, чего я не понял и не понял до сих пор. Я сидел на полу возле пианино — сел, не заметив, как, — и держал тетрадь на коленях, как держат ребёнка.

Вставки-документы, которые мы прочли потом, вечером, вслух, будут в следующих главах. Их много. Они идут с тысяча девятьсот двадцать четвёртого года.

Но одна строка из тетради я должна записать сейчас, пока не забыл, потому что она — про нас всех, и она стоит в самом начале, перед конвертом прадеда:

«Дом — это не стены. Дом — это то, что в нём недосказано».

Глава третья. Двенадцать копеек

Утром Лена объявила, что у нас теперь будет устав.

— Правило первое: тетрадь не выходит из квартиры. Ни под каким видом. Ни для сканирования, ни «дай переписать на фотик».

— Правило второе: читаем по порядку. С первой даты. Перескакивать нельзя. Папа сказал бы: порядок — это когда каждую вещь читаешь в её очередь.

— Правило третье: читаем вслух. За столом, в зале. Сергей — по связи, каждый вечер в девять. Он согласился. Он даже сам написал: «в девять».

— А правило четвёртое? — спросил я.

— Правило четвёртое, — сказала Лена и потёрла руки о халат, в котором ходила всю жизнь, только раньше халат назывался «папин», а теперь — «наш», — после полуночи не читаем. Папа говорил: после полуночи дом говорит сам, а нам с домом лучше не перебивать друг друга.

Я кивнул. Мне тридцать восемь лет не было нужды в семейном уставе — теперь он появился, и, странное дело, меня он успокоил. Правила — это каркас: на них вешают не тяжесть, а свет.

Гречку Лена сварила из отцовского резерва. Пачка была старая, с наклейкой «февраль» — отец держал запас по месяцам, как командир держит резерв по ротам. Гречка сварилась нормально: она не портится. Она ждёт. Мы ели молча, и молчание было уже не пустым, как в первый день, а наполненным — как рюкзак перед дорогой.

Первое чтение назначили на девять вечера. К этому часу Сергей пересел из своего московского кабинета в машину — я видел в квадрате его лицо на фоне движущихся чужих окон: он ехал с работы домой и слушать будет в машине, как слушают детское радио. «Так даже честнее, — сказал он. — В офисе я думал бы о работе, а в машине я ни о чём. Ни о чём — самое честное состояние для семейных тайн».

Лена открыла тетрадь на второй странице. На первой мы уже прочли правила — и вот за второй страницей начиналась дата.

Лиговский, четырнадцатый. Апрель тысяча девятьсот двадцать четвёртого года.

Лена читала медленно, и голос у неё был такой, каким читают не книгу, а письмо от живого человека живым людям.

— «Лиговский, четырнадцатый. Апрель тысяча девятьсот двадцать четвёртого года» —

Купил я сегодня общую тетрадь в клетку в киоске на Забалканском. Дал двенадцать копеек. Продавица спросила: в клетку? Я ответил: в клетку. Она усмехнулась: часовых дел мастер, а пишет, как гимназист. И была права: рука у меня для мелкой работы, стрелку я поставлю точнее секунды, а буквы у меня бегут, как городские по Кузнечному.

Скажу сразу, зачем тетрадь. Потом объясню, почему именно она и почему именно сегодня.

В этом доме мы живём семь лет. Квартира в четыре комнаты, окна на юго-восток, во дворе — каштан, который никто не сажал, он сам. Со мной жена Сарра, сын Андрей, ему шесть, и скрипучая лестница, которая отчитывает каждого, кто идёт не в свою очередь.

Моя мать умерла позапрошлой зимой. Отец — раньше, при императоре, когда ещё считалось, что смерть человека можно пережить.

Город в январе сменил имя: Петроград стал Ленинградом. На моей вывеске ничего не меняли: «Часы. Ремонт». Имя города меняют часто, имя ремесла — никогда. Часы всегда часы.

Теперь — зачем тетрадь.

У меня был брат, Гриша. Младший на два года. В феврале девятнадцатого он умер от тифа на моей кровати, потому что у меня была кровать, а у него не было. Я сидел рядом всю ночь. А утром, когда он спросил меня последний раз — есть ли у нас мука, — я ответил ему: нет.

Мука была. Полпуда, зашито в подкладку старого пальто. Я не дал ему потому, что боялся: начну делиться — начну делиться всем, а у меня жена и ребёнок. Он умер, так и не спросив второй раз. А я остался с мукой, которую ношу до сих пор. Не в подкладке — в груди.

Врать вслух я с той зимы больше не могу. Молчать вслух тоже не могу: дом слышит. Поэтому — тетрадь. Бумага слышит и не отвечает, а это ровно то, чего я от неё прошу.

Правила мои такие:

1. Тетрадь держит старший в доме. Старший — не по возрасту, а по тому, кто держит ключ от кладовой.

2. Каждый, кто держит, обязан оставить запись. Хоть строчку. Пустых страниц в этой тетради не держим: пустая страница в доме хуже битого окна.

3. Особые страницы пишутся на отдельных листах, складываются конвертом и не читаются до особого случая.

4. Особый случай — это не беда. Беда можно пережить молча. Особый случай — когда правда нужна живым больше, чем покой мёртвых.

5. Копировать тетрадь запрещаю. У копий нет веса, а у подлинника есть.

Что ещё. Андрюше шесть. Когда вырастет и захочет соврать — пусть сперва прочтёт вслух эту страницу. Сарре не читать: она всё знает и так, только не знает, что я знаю, что она знает. Это у нас семейная архитектура. Я её поддерживаю.

Часы на столе идут. Время, которое не идёт, лежит в доме, как сломанные часы, — я чиню чужое время и не могу починить своё. Пусть хоть тетрадь стоит.

А. Резник.

Когда Лена кончила читать, в квадрате на серванте было слышно, как Сергей остановил машину. Невидимо, без картинки остановки — просто окна перестали двигаться за его лицом.

— А теперь посчитайте, — сказал он наконец, — сколько нас соврало друг другу за сто лет. Тетрадь — это не тайна. Это реестр.

— Это не реестр, — сказала Лена. — Это амнистия. Он придумал способ, чтобы врать вслух больше было нельзя, а на бумаге — можно. Раз в жизни. Живым. Он оставил семье запасную правду, как я оставляю запасную гречку. На случай, если вслух не получится.

Сергей помолчал и сказал: «Завтра в девять. Не опоздаю». И отключился первым — но не убежал, а как выходят из комнаты, где хотят остаться.

Тамара Борисовна пришла утром с ватрушками и вопросом, как мы спали в чужом теперь уже доме. Я назвал ей имя — Аркадий Семёнович — и она попала на него, как на знакомый сигнал.

— Аркадий Семёнович — это часовых дел? — Она поставила ватрушки на тарелку с треснувшей глазурью и сел... встала, поправилась, сказала: — Сама не застала, я с сорок восьмого. Но вывеску видела. Она в кладовке висела до самой перестройки: «Часы. Ремонт», — и буквы с завитками. Потом отец вашего Виктора снял её, аккуратноенько, и положил в тот же ящик с часовыми стёклами. Андрюшей звали, отец Виктора. Страшный молчун, но писал красиво — я ему чернила носила, меня посылали в лавку, девчонке дешевле. И я вам так скажу,

пока никто не слышит: в этой семье всегда был один, кто писал, и все остальные, кто молчал. Писать у вас наследственное, как нос.

— Про кладовку, — сказала Лена.

— Про кладовку не трогайте, — отрезала Тамара Борисовна. — Ящик там стоит, с часовыми стёклами. Ваш Виктор Андреевич его не разбирал — говорил: ящики разбирать нельзя, пока не прочтёшь этикетку. — Она собрала кружки, которых не было на столе, и ушла к себе из вежливости: у неё из вежливости всегда получалось лучше, чем у нас по необходимости.

Ночью я нарушил правило четвёртое. Не совсем: я не читал, а листал. Разница между «читать» и «листать» — это разница между кражей и тем, что свет из чужого окна упал тебе на пол: пользоваться нельзя, но и не воровал же.

Я листал и смотрел на поля. У каждого держателя на поле стояла дата — как у инженера, который сдаёт работу и ставит на ней свою дату. Даты шли так: апрель 1924-го. Потом пустота. Потом октябрь 1949-го. Потом март 1975-го. Потом июнь 1990-го — и тут рука была чужая: чернила фиолетовые, канцелярские, дрожащие. Потом август 1998-го. Потом февраль 2010-го. И последняя — декабрь 2015-го, отцовская, ровная, как штрих на чертеже.

Конверт с прадедовой страницей лежал там же, где лежал: надпись на нём — «Вскрыть, когда все трое будут в квартире одновременно». А ниже, карандашом, отцовская строка, которую я вчера не заметил:

«Сначала — тетрадь. Потом — конверт. Мне понадобилась жизнь, чтобы понять, в каком порядке читать эту тетрадь. Вам не понадобится. Я уже понял».

Я закрыл тетрадь, вложил её обратно в пианино, между струн, где она провела столько лет, что, наверное, научилась звучать, и накрыл крышку. Метроном стоял на месте, без маятника, как дом без жильцов.

И я подумал: дом не молчал. Дом всё время вёл запись. Просто мы не умели читать.

Глава четвёртая. Пианино с Лиговского

Четвёртое чтение назначили на воскресенье — потому что Сергей сказал, что по воскресеньям он не в машине, а в «нормальном звуке», и что для этой страницы нужен нормальный звук. Он не объяснил, почему именно для этой, и мы не спросили: у Сергея есть привычка знать заранее, что будет тяжело, и готовиться к этому звуком.

К девяти он подключился из московской квартиры — мы впервые видели его дом: комната с окном во двор, на подоконнике стакан с зубными щётками, за спиной шкаф, на котором стояли одинаковые книги, как будто купленные оптом. «Не вычитывайте у меня интерьер, — сказал он. — Я живу между командировками».

Лена открыла тетрадь на странице с датой октябрь 1949-го. Почерк был тот самый, красивый, — дедовский, Андрей Аркадьевич. Ватрушек Тамары Борисовны на столе уже не было, но тарелка стояла, и, может быть, поэтому у меня было ощущение, что нас слушают трое: брат, сестра и человек, которого никто из нас не видел.

«Поставил я сегодня пианино. Или оно поставило меня — не знаю, кто кого. С сорок девятого года оно стоит в нашей большой комнате, и с сорок девятого года я обязан записать — почему. Это условие. Мне его поставил человек, которого я до того дня не знал, а после — не забыл до сих пор.

Начну по порядку.

Отец мой умер в пятьдесят первом — но тетрадь досталась мне раньше, в сорок девятом, когда его увезли на вторую операцию и он, отдавая мне ключи от кладовой, сказал: держи. Значит — держи тетрадь. И я держу.

Первую запись оставил я ещё в сорок пятом, вернувшись с фронта. Она была короткая: «Вернулся. В доме никто не ждал, потому что ждать было некому, а стул на кухне стоит как стоял. Я сел на него, и стул не спросил, где я был». Тогда я не понимал, зачем пишу. Теперь понимаю.

Теперь — про пианино.

В марте сорок девятого ко мне в мастерскую пришёл человек. Мастерская моя — та самая, что при отце: «Часы. Ремонт». Человек был одет скромно, но обувь на нём была хорошая, а обувь — это то, что человек не может скрыть, если даже захочет, а чаще не хочет. Он положил на прилавок карманные часы в никелированном корпусе и сказал:

— Барометр внутри. Не часы. Ходить не будет — я не о времени.

Я открыл корпус. Внутри, вместо механизма, лежала бумажка, сложенная вчетверо. Я её не развернул. Развернуть означало взять чужое — а взять чужое в моём доме означало взять долг, и я это знал раньше, чем умел формулировать.

— Что это? — спросил я.

— То, что я не могу держать у себя. А у вас держать можно: у вас есть место, где вещь лежит и не звучит.

— Я часовщик, — сказал я. — У меня всё звучит.

— В том и расчёт, — сказал он и положил на прилавок деньги. Не плату — оплату: он платил за хранение, как платят за багаж.

Он ушёл. А я остался сидеть с бумажкой вчетверо, которую не развернул, и с часами, которые не шли, и я понял, что произошло: человек передал мне не вещь. Он передал мне молчание, вес которого я отныне обязан нести.

Бумажку я не читал до осени. В октябре пришла бумага из жилищного управления: дом наш прошёл обследование, большую комнату в четыре окна признали непроходной жилплощадью, и мне предписали либо сдавать угол, либо... не помню, что либо. Я был один, Соня — жена моя — умерла в сорок восьмом, дочери моей было девять, и я держал квартиру, как держат обшивку судна: чтобы не отрывалась.

И тогда я развернул бумажку.

Не буду писать, что там было. Скажу одно: там было имя. Не моё. И не её. И после прочтения я понял, почему человек сказал: «у вас есть место, где вещь лежит и не звучит». Он знал, что у нас в доме звучит только одно место — мамина комната, где после сорок второго года не переставала ходить настенная пружина, хотя заводить её было некому: она шла от инерции, как ходят часы, на которых забыли остановить время.

В ту же неделю я продал серебро, которое было при Соне, — Господи, прости, ты видела, как я не хотел, — и купил пианино. «Аккорд», немецкий корпус, цена смешная, потому что после войны в городе их было больше, чем желающих: пианино — вещь, которая напоминает о квартирах, из которых ушли хозяева, и никто не хочет такой Reminder.

(Исправляю: «такой реминдер» — нет тут такого слова, я старый человек и записываю, как говорю.) Пианино купили ради напоминания — не могу подобрать слова по-русски, пусть будет так.

Когда его внесли — вчетвером, на простынях, по лестнице, которая отчитывала каждого, кто идёт не в свою очередь, — соседка наша, Двойникина, вышла на площадку и спросила:

— Андрей Аркадьич, вы же не играете.

— Не играю, — сказал я.

— Так зачем же?

— Чтобы комната звучала, — сказал я. — Пустая комната, Двойникина, звучит хуже, чем заполненная. В пустой слышно каждое слово, которое не сказано.

Она посмотрела на меня странно и ушла к себе. Она была из тех соседок, которые на всё имеют мнение, а после сорок девятого, когда пианино встало, у неё появилось одно, о котором она не имела права говорить, — и у неё не спрашивали.

Пианино поставили к стене, где висели мамины часы. Я специально: пусть инструмент стоит под часами — вещь под своим временем. В корпус я положил ту бумажку вчетверо — не разворачивая, между струн, где ей не сыро и не сухо. И сверху положил тетрадь — чтобы дом знал: тут лежит то, что лежит.

Я не открыл того, что знал. Я положил знание в дом, как кладут шинель на шкаф: пусть висит, пусть носит пыль, пусть знает каждый, что она есть, — но надевать её никто не должен, пока не придёт срок.

Срок — это когда все, кто имеет право, будут в доме одновременно.

У меня это случилось только однажды, в шестьдесят девятом, — но об этом писать пока рано. Пока запишу главное: бумажка не моя и не её. Бумажка принадлежит человеку, который больше не имеет права её держать, — и это единственное, что я знаю наверняка, потому что в июне сорок девятого он вернулся и попросил обратно. А я не отдал.

Не отдал — потому что прочитал к тому времени всё, что было можно, и понял: если я отдам бумажку, он отдаст её в тот же ящик, в который отдал первую. А в доме, где я живу, ящиков с чужими тайнами не держат. В доме, где я живу, тайна должна лежать там, где её найдут мои, — если смогут.

А. Резник. Октябрь сорок девятого.

Р. С. Дочке моей девять. Зовут Леной. Она ещё не знает, что будет держать эту тетрадь. Я уже знаю.

Такого в правилах нет — я добавляю правило от себя, как держатель: держатель может знать будущее держателей, но не обязан им это знание оставлять. Я оставляю — но не здесь. Здесь — молчание. А будущее — в конверте.»

Когда Лена кончила, первым заговорил Сергей — и голос у него был не московский, а какой-то школьный:

— Лена. Твоя тётка. Не тётка — бабушка. У тебя же была бабушка Лена?

— Была, — сказала Лена. — Я её не застала. Я в честь неё.

— А человек с карманными часами, — продолжал Сергей, — «барометр внутри»... Ты понимаешь, что это значит? Он заплатил за хранение. За хранение чужой тайны. Он мог держать её где угодно — в банке, в камере хранения, закопать. Он выбрал мастерскую часовщика на Лиговском. Почему?

— Потому что у часовщика, — сказал я, — место, где вещь лежит и не звучит. Он так и сказал. Часы — это единственный механизм, который держат закрытым и не открывают, пока не придёт мастер. Он искал не тайник. Он искал профессию.

В квадрате Сергей молчал долго. Потом сказал: «Я в детстве думал, что дед был просто старик с часами. А он был, получается, хранитель. Государство спит, а чины работают». И отключился — но на этот раз сказал перед этим: «Спасибо, Лен. За то, что читала». Такого слова я от брата не слышал с детства.

Тамара Борисовна позвонила в девять сорок — она звонила по-своему: три коротких, пауза, один длинный. На нашем языке это значило «есть что сказать, но подойди ко мне сама». Я спустился на второй этаж — она жила под нами, в комнате, которая раньше была третьей половиной трёхкомнатной, а теперь была вселенной в одиннадцать метров.

Она посадила меня на табурет, налила чай и сказала:

— Пианино вносили четверо. Я помню: я тогда семнадцать было, у меня коса была до пояса, я её в тот год отрезала — так что все помнят, что я в тот год отрезала косу, а я-то помню, что в тот год внесли пианино. Двое грузчиков, дед твой и ещё один. И вот этот четвёртый —

он не грузчик был. Он в шляпе стоял у парадной и не входил. Пока пианино вносили, он стоял и смотрел. А когда внесли — снял шляпу и пошёл. Дед твой за ним не пошёл. Но до вечера я видела его у окна — он смотрел в ту сторону, где шляпа ушла.

— Вы его запомнили? В лицо?

— Шляпа, — сказала Тамара Борисовна, — осталась. В кладовке, у деда, на гвозде за дверью. Он её в сорок девятом принёс и сказал: «Если кто спросит — не было». Но я же в этом доме с сорок восьмого года живу, меня не обманешь «не было». Я всё видела.

Она помолчала и добавила — уже не про шляпу:

— И вот что, Паша. Ты пианино-то не двигай. А то у твоего деда в тетради записано — не читала, я в чужие тетради не лезу, — но я видела, как он записывал. Он писал и поднимал палец вот так — «не двигай». Он пианино не ставил для игры. Он его ставил для веса. Как у печки — подмалёвок: на него всё держится.

Домой я поднимался медленно, по ступенькам, которые отчитывали меня за то, что иду не в свою очередь. В зале пианино стояло на месте — как стояло с сорок девятого. Я положил ладонь на крышку — так кладут руку на дверь знакомого человека, когда тот не открывает: не потому, что просишь, а потому, что здороваешься.

И мне показалось — только показалось, я инженеров сын и знаю цену «показалось», — что где-то глубоко, между струн, под слоем пыли цвета кофе с молоком, лежит не тетрадь.

Там лежит имя. Не наше. И не её.

И оно ждёт нас с 1949 года.

Глава пятая. Непонял

Пока не началось пятое, я должен восстановить в протоколе второе и третье чтения — иначе мой протокол соврёт порядком, а врать порядком у нас теперь не положено.

Второе чтение прошло во вторник — Лена открыла тетрадь сразу за апрельской страницей двадцать четвёртого. Там были прадедовы записи двадцать пятого года: про Андрюшу, который научился крутить ключ у напольных часов и который, по словам прадеда, «крутит, как ворует, — надо переучивать, чтобы крутил, как отвечает». Про вывеску, которую он мыл по воскресеньям. Про брата, о котором больше ни слова — только фраза, брошенная в середину хозяйственного абзаца, как гвоздь в стену: «Мука кончилась. Я не съел её. Я отдал. Странно: шесть лет носил в груди, а отдал за один вечер, и стало легче, чем до неё».

Третье чтение — в четверг. Запись тридцать первого года: у Андрея Аркадьевича — Андрюши, ему тринадцать — родился брат. Прадед назвал его Григорием — в честь брата, который умер в девятнадцатом на его кровати. И в конце той записи прадед написал: «Имя ему я дал чужое — моё горе. Пусть вырастет и заменит его своим. Имена в этом доме не выбирают. Их отработывают».

А потом — пустота до сорок девятого. Мы её уже знали: сорок второй год, кладовка, обоз. И октябрь сорок девятого — пианино.

Пятое чтение назначили на субботу. Сергей приехал на этот раз не квадратом — «Сапсаном», на день, сказал: «Эта страница про отца. Я не буду слушать отца из машины». Он впервые за все недели поднялся по нашей лестнице, и лестница отчитала его, как отчитывала меня, — за то, что идёт не в свою очередь, за то, что не был здесь одиннадцать лет.

Лена открыла тетрадь после октябрьской страницы сорок девятого. Между ними — не пустота. Между ними были страницы с датами и одним словом.

Я их потом пересчитал: шесть дат, и на каждой одно слово, отцовской рукой, с инженерным нажимом: «не понял». Шесть лет — шесть слов. Он держал правило «пустых страниц не держим» и не врал бумаге. Он поставил дату на пустоту, чтобы пустота была честной.

А седьмая дата была с текстом. Март семьдесят пятого. Почерк я узнал раньше, чем Лена начала читать, — так подписаны все инженерные расчёты в этой квартире, и так была подписана записка на холодильнике: «Молоко в дверце, не жалея его».

Лена читала — и я слушал отца.

«Март 1975. Виктор Андреевич Резник. Держатель с осени шестьдесят девятого.

Первое. Тетрадь мне отдал отец. Сказал: «Держи. Пиши, когда поймёшь». Я не понял тогда ни слова «держи», ни слова «когда» — и это разные незнания. Осенью его не стало. Тихо, во сне, в комнате, где часы. Я вошёл утром, а он лежал лицом к стене, и маятник качался, как качался, — дом не заметил. Так умеет только дом.

Шесть лет я не писал. Не потому что не хотел — потому что не понимал, а врать бумаге я не умею: бумага у нас в семье не врёт. Врать мы умеем только друг другу вслух, и я это тоже знал с детства, но не умел ещё так сказать.

Пустых страниц не держим — правило моего отца. Я нашёл выход: ставил дату и писал одно слово: «не понял». Таких дат у меня шесть. Это седьмая.

Теперь по существу.

В июне шестьдесят девятого в дом пришёл старик. Я жил тогда здесь же, с отцом. Постучал он так: три раза коротко, выждал — и четвёртый раз, долго. Такой стук я слышал впервые. Отец открыл не спросив «кто» — открыл сразу, как открывают тому, кого ждали двадцать лет. Старик был в пальто не по сезону и в шляпе. Они ушли в кладовку. Мне сказали: «Постой у двери». Я стоял час двадцать. Слышал слова: «стрелка», «дом», «камень», «не отдавай», «он далеко» — и один раз голос старика сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь и не понял до сих пор: «теперь можно — время своё отстояло».

Когда старик ушёл, отец сел у пианино и просидел так до темноты. Потом сказал мне — ровно, как читают акт:

— Теперь всё. Срок вышел. Он свой срок отстоял. Большие он не придёт никогда, и это хорошо: приходит к живым в его возрасте — значит просить у них лишнего. А твои придут. Твои — это твои дети. Придут и спросят про барометр. Что будешь отвечать?

— Не знаю, — сказал я.

— Правильно, — сказал отец. — Не знаешь — так и отвечай: не знаю. Часовщик врёт один раз в жизни — когда говорит заказчику «завтра». Инженер не врёт никогда: у него расчёт. Ты инженер. Рассчитаешь.

Осенью он умер. За неделю до этого собрал меня в кладовке, при свече — у нас в кладовке до сих пор свеча, не помню, с какого года, — и сказал то, что я записываю дословно, потому что слова оказались важнее, чем я думал тогда:

— Тетрадь держи. Пиши, когда поймёшь, а не когда сможешь — это разные вещи, я шесть лет путал их со своим отцом. Шляпу с гвоздя не снимать: она не моя и не твоя. Она — то, что обещали. Ящик не разбирать, пока не прочтёшь этикетку. Пианино не двигать: на нём всё держится. И главное. Бумажка в пианино — не твоя и не моя. Мне хотелось её сжечь — не стану врать, хотелось, и не раз: вес был тяжёлый. А потом я понял вещь, которую ты поймёшь позже: тайна, которую держат, — это не тайна. Это чьё-то имя, которое никто не назвал вслух. Мы держали имя. Держи и ты. Но не держи вечно: дом держит не для того, чтобы прятать. Дом держит, чтобы передать в целости.

Я пишу это, и рука у меня дрожит. Инженерская рука. Дрожать она не должна — а должна, когда держит вес: это я теперь тоже понял.

И последнее. Дочь моя — ей в этом году три. Зовут Леной. Имя не наше, семейное: так звали сестру моего отца. Отец говорил: имена в доме не выбирают — их отработывают. Вчера она постучала пальцем по закрытой крышке пианино — стучала по дереву, как стучат в дверь, — и спросила: «Папа, кто там?» Я не понял вопроса. Она постучала ещё раз и повторила: «Кто там?» — и ждала ответа. Трёхлетняя девочка умеет ждать ответа от дерева, а я шесть лет не умел ждать ответа от тетради.

Вот тогда я понял. Тетрадь — это дверь. В неё стучат. Отвечают не сразу — иногда через сто лет. Но отвечают тем, кто стучит по-настоящему.

Дочь моя постучала. Я отвечаю.

В. А. Резник.»

Когда Лена кончила, никто не говорил минуты три. Я смотрел на тетрадь и понимал, что впервые за одиннадцать лет слышу отца — не голосом: почерком. Голос я его слышал в последний раз в декабре пятнадцатого, по телефону, короткий разговор о датах возвращения, который я не помню уже ни строчки. А почерк — вот он: нажим на «р», инженерная аккуратность цифр, и это слово — «не понял» — шесть раз, по дате на каждое. Отец умел ждать. Я не умел. Одиннадцать лет я не летал в Петербург, потому что не знал, что скажу, — а надо было поставить дату и написать: «не понял».

— Шесть лет тишины, — сказал Сергей. — И шесть слов вместо тишины. Понимаешь, что это за язык? Это не молчание. Это молчание с датами. Он сделал пустоту документом.

— «Инженер не врёт никогда: у него расчёт», — сказала Лена тихо. — Он мне это говорил. Буквально этими словами. Я думала, он цитирует себя. А он цитировал деда.

— «Срок вышел», — сказал я. — Сергей. В сорок девятом дед написал: «Срок — это когда все, кто имеет право, будут в доме одновременно. У меня это случилось только однажды, в шестьдесят девятом». Он написал это в сорок девятом. За двадцать лет до события. С датой.

— Значит, одно из двух, — сказал Сергей медленно. — Или он знал будущее. Или дописал страницу позже, а дату оставил сорок девятой. — Он посмотрел на тетрадь. — Копировать тетрадь запрещено, правило пятое. Но свою страницу переписать набело — это не копия. Это правка.

— Это уравнивание, — сказала Лена. — Часовщик не дописывает вчерашнее. Он подводит стрелку. Страница сорок девятого года была выставлена на шестьдесят девятый — как часы, которые отстают: не врут, а ждут.

Мы все посмотрели на неё. Лена пожала плечами — «я не знаю, что говорю, я говорю из дома» — но никто не возразил.

В девять десять позвонила Тамара Борисовна: три коротких, пауза, один длинный. Я спустился. Она сидела у своего окна, и я — так сразу и понял, что она знает про шестидесятый девятый больше, чем написано в тетради, — сел на табурет без приглашения.

— Пятое уже? — спросила она.

— Пятое. Март семьдесят пятого.

— Про стук читали?

— Про стук.

Она кивнула так, как кивают подтверждению, которое ждали сорок лет.

— Так стучал он, — сказала она. — Я в шестьдесят девятом стояла на площадке — мне тридцать семь было, я не женщина была, я был глаз этого дома. Стук: три коротких, выждать, один длинный. Я его запомнила и звоню им сорок лет. — Она посмотрела на телефон на тумбочке. — Три коротких, один длинный. Ты думал, я так звоню? Я так стучу. Это стук в дверь, которой уже нет. Хотела, чтоб кто-нибудь однажды понял: человек, который постучал так в шестьдесят девятом, ушёл — а стук остался в доме. И я его ношу.

— Вы его узнали? В шестьдесят девятом? Того старика?

— Я его узнала, — сказала Тамара Борисовна. — Тот же. Что в сорок девятом у парадной стоял, что в шестьдесят девятом к нам постучал. Осанка часовщика: люди в шляпе бывают разные, а спину так носят только те, кто склоняется над мелким всю жизнь. — Она помолчала. — И ещё скажу, раз уж ты сидишь. В сорок девятом он не вошёл. В шестьдесят девятом вошёл — в кладовку, в шляпе не входят, он шляпу снял и держал в руках. Два часа они говорили. А после — вот что я видела из своей двери, я всё видела, — дед твой проводил его до парадной, и на площадке они остановились, и старик снял с руки часы — карманные, никелированные,

те самые, я думала, — и дед не взял. Поклонился — так, как кланяются крышке гроба, — и не взял. И старик положил часы ему в карман сам. И ушёл. А дед стоял, пока лестница не отчитала его за то, что стоит. — Она повернулась ко мне. — Куда он их дел, эти часы? В тетради про них после сорок девятого — ни слова. А человек, который отдал часы, не отдал бы их просто так. Такие не отдадут просто так.

Я поднялся наверх с этим вопросом — куда делись часы с барометром — и не заметил, как прошёл мимо пианино. Остановился. Положил ладонь на крышку.

Часы, которые перестали идти в сорок девятом, могли лежать где угодно. Но в этом доме ничего не лежит где угодно. Порядок — это когда вещь можно найти в темноте. Значит, часы лежат там, где их найдут мои.

Ночью — не совсем ночью, в половине двенадцатого, то есть уже с нарушением, — я листал тетрадь и нашёл все шесть дат со словом «не понял». Они стояли ровно, по одной на год: семьдесят, семьдесят один, семьдесят два, семьдесят три, семьдесят четыре. Пять дат до семьдесят пятого — а я насчитал шесть. Шестая была дальше, в конце, отдельной страницей, не по порядку, в самом конце тетради, перед последней отцовской записью декабря пятнадцатого.

Март 2015. Одно слово: «понял».

Отец понял за девять месяцев до смерти. И тогда же — я это теперь знаю по первой главе нашей истории — запечатал тетрадь бечёвкой и воском. Он понял — и тут же запечатал. Не потому что спрятал. Потому что понял, что дальше читать должны не мы — а те, кто стучит по-настоящему.

Я закрыл тетрадь и подумал, что теперь у меня два конверта: прадедов — «вскрыть, когда все трое» — и отцовское слово «понял», которое врезано в декабрь пятнадцатого, как сургуч в бумагу.

И между ними — шесть лет «не понял» и сорок лет стука в дверь, которой нет.

Глава шестая. Плёнка

Диктофон она достала не сразу. Сначала — три воскресенья подряд — она звонила и говорила только: «Завтра. Завтра принесу». А на четвёртое воскресенье пришла сама — я так и не узнал, чем она поднималась на четвёртый этаж: ей было девяносто, и она поднималась так, как в этом доме всегда поднимались тяжести, — медленно, с отдыхом на каждой площадке и с ключом от всех комнат в кармане.

В руках у неё был пакет из-под молока «Петмол» — такой, какие перестали делать в девяностых, — и внутри что-то тяжёлое и глухое.

— Кассеты, — сказала она в дверях. — Шестьдесят штук. С восемьдесят четвёртого года. Я их записывала на диктофон, который мне дал муж в последний год. Он сказал: «Тамара, ты одна из этого дома помнишь больше, чем все вместе. Записывай». Я записывала тридцать лет. Каждый вечер — минуту. Иногда больше, если день был особый.

— Вы вели протокол, — сказал я.

— Я вела дом, — поправила она. — Протокол — это когда записывают то, что было. А я записывала то, что было бы стыдно забыть. Это разные ведомства.

Она выложила кассеты на стол — по шесть штук в ряд, подписанные датами и номерами карандашом, аккуратно, как подписывают аквариумы в зоомагазине. Кассеты были разных фирм: «ТДК», «Сони», одна «Electronics» — но подписи все были одной рукой, и рука с годами не меняла нажима. Только буквы «б» и «в» к концу стали похожи друг на друга — я заметил это в двенадцатой пачке и понял: девяносто лет пишется даже в почерке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.